

Глава 1

— Нет в тебе, Ласточкина, понимания момента, — со вздохом произнес Афанасьев и глянул с этаким укором, что я почти усовестилась.

Усовестилась бы, может, и совсем, если бы не скрипнувшая дверь. И человек, в эту дверь вошедший.

— Экая ж... гарная паскудина. — Афанасьев обладал воистину удивительною способностью описывать людей точно, емко и, главное, тихо.

Ибо Окрестин-Жабовский, назначенный нам начальником, не услышал. А может, виду не подал. В конце концов, куда их сиятельству-то до нас снисходить.

Я подавила вздох.

Гарная. Вот чего у Гришки не отнять, так этой самой «гарности».

А что, потомок древнего и славного рода, пускай и позидержавшегося. Высок. Статен. Осанку держит. На люд простой взирает с легкою насмешкой. И физия такая, что прямо на обложку просится.

Или по морде.

— Ласточкина... — Меня он все-таки заметил и слегка поморщился. Нет, кто бы другой и не заметил, ибо физию Гришка держать умел, но я-то его как облупленного знаю. — Зайдите, будьте любезны.

— И вежливая, — печально добавил Афанасьев.

Еще какая...

Он никогда-то не ругался, Григорий Александрович. Был мил. Любезен. Очарователен настолько, что шансов у меня не оставалось. Да и не только у меня. В него, почитай, почти весь наш курс был или влюблен, или почти. А он пользовался.

Это теперь я умная и понимаю, тогда же...

Тогда сердце обмирало и ухало в пятки, когда Гришка брал мою руку. Бережно так. И к губам подносил. И глядел исподлобья с этою своей насмешечкой. Мол, все-то про тебя знаю, все-то вижу.

— Вот... — Афанасьев дождался, когда в коридоре скрипнет начальственная дверь, — нет в тебе понимания момента! Дала бы ему, не переломилась, и ходила бы гоголицею. — Я промолчала. Проблема не в том, что Гришка ко мне приставал, проблема в обратном. То есть нет, я к нему точно не приставала. И не собираюсь. Не теперь. — Ладно, иди уж, я тебе чаечку заварю. — И рукой махнул.

Афанасьев, он добрый. И понимающий. И видят боги, я бы осталась тут с ним пить крепкий горький чай из старых граненых стаканов, греметь ложечкой по стеклянным стенкам да закусывать свежайшими пирожками, которые Афанасьев брал в булочной на углу. И главное, я тоже туда заглядывала, но на пирожки, чтобы с пылу, с жару, никогда не попадала.

Да, нет во мне чувства момента. Совсем.

У кабинета высокого начальства вытерла вспотевшие руки о юбку. Юбка была форменной, а потому сидела кривовато, как и китель. И чувствовала я себя в этом как...

Дерьмово чувствовала.

Не в одежде дело. И не в двери этой, которая появилась в участке в один день с Гришкой, — ее привезли на замену старой таким символом перемен.

Ненавижу перемены.

Я буравила взглядом темное, с краснотой, дерево, поблескивавшее лаком.

Стучать?.. Хрен тебе.

Рука легла на витую ручку. Гришка всегда любил такое необыкновенное...

— Доброго дня, — сказала, переступив порог.

И, не сдержавшись, хмыкнула.

Кабинет тоже преобразился. Старый ковер, протертый местами до дыр, исчез, как и письменный стол,

и кресло, и все-то прочее, обычное, знакомое до боли. Ушли в отставку вместе с Михальским.

Зато появились панели, явно из дорогого дерева. И ковер новый. И стол массивный, видом своим внушающий мысли о том, что сидит за ним человек предостойнейший. Важный и серьезный. Пресс-папье. Шкаф для бумаг. Сейф мрачной серой громадиной.

— Доброго. Проходите. — Гришка указал на стул, к слову тоже новый. Как и портрет батюшки-императора — не печатный, как прежний, а писанный маслом. Ну да, как иначе-то... печатные князьям держать неместно. — Присаживай... ся, — выдавил он и сам дверь прикрыл.

Правда, не до конца.

А я что? Присела. Жду.

И смотрю.

Форма на нем сидит идеально. Но это не Гришкина заслуга, скорее, ныне он может позволить себе личного портного. Бесит. И потому нервно одергиваю китель, который норовит задраться. И вспоминаю, как штопала ему брюки, которые разошлись по шву. И носки тоже штопала. И...

— Яна, ты извини, пожалуйста, что так получилось...

Надо же. Прежде он не извинялся.

И смотрит слегка виновато. Только у меня уже иммунитет на его взгляды. И знаю, что на самом деле никакой вины Гришка не ощущает. Не способен просто-напросто. А вот изобразить — это да, это может.

И вину. И раскаяние. И любовь в том числе.

— Да ладно, — говорю, — проехали.

И руки складываю на груди. Потом ловлю себя на том, что жест этот враждебный, нам штатный мозголом говорил, когда читал курс по психологической оценке чего-то там. Но руки не отпускаю и под взглядом Гришкиным не теряюсь.

— Ты всегда была умна...

Почему-то это кажется насмешкой.

Ага, умна. Как два дурных индейца, так одна моя знакомая говаривала. И была права всецело. Умная бы...

что? Не влюбилась бы? А влюбившись, вовремя разобралась бы, что к чему? И не потратила бы семь лет жизни на это дерьмо. И теперь бы нашла что сказать.

Я же молчу.

— И потому понимаешь, что ситуация сложилась крайне неоднозначная. Я надеялся, что твое здесь присутствие... не помешает.

— Кому?

Вздых.

И понятно, кому оно мешает. Незабвенной Машеньке Окрестинной-Жабовской, в девичестве Игнатъевой, нынешней Гришенькиной законной супруге, а заодно единственной и горячо любимой доченьке генерала Игнатъева, того самого, который при министрах заседает. И, заседаая, что характерно, заботится о доченьке. Ну, и о зяте.

Правда, все одно чуется, Гришку он недолюбливает, иначе к себе бы взял, в министерство, как на то, подозреваю, Гришенька надеялся. А может, и взял. Где-то ж Гришка три года ошивался.

Я не спрашивала. И не буду.

— Машенька... очень ревнива.

— Сочувствую.

— Прекрати. — Гришка рухнул в кресло. — Если бы ты знала, как я устал от ее ревности, подозрений постоянных... от придирок...

— Разведись, чай не девятнадцатый век.

Он глянул исподлобья и, кажется, со вполне искренней ненавистью.

Ну да, Игнатъев этакого выверта не простит. Он, сколь слышала, человек старой закалки и разводов не признает. А с его-то возможностями...

Я хмыкнула.

— Смешно тебе.

— А то. — Откинулась на спинку кресла. — Как тебя сюда-то занесло? У тебя же аспирантура, помнится, красный диплом...

Сколько я для этого диплома практических сделала. А его работа? Там же две трети расчетов — мои. Нет, Гришка от работы не отлынивал, тут ему надо отдать

должное. Он был цепким, усидчивым. Но порой этого не хватало. Я же...

Я старалась.

Верила. И помогала. Ведь женщина должна помогать своему мужчине. Вдохновлять. Возвышать. Что там еще?

— Защитился, но... Игнатьев полагает, что мне не хватает опыта. На земле.

Ага. И на землю эту Гришеньку приземлил к вящему его неудовольствию. Причем из всех отделений столичной полиции выбрав наше, третье. Хотя...

Если подумать, мы на хорошем счету. Раскрываемость отличная. Работа с населением поставлена. Да и район чистый, благополучный. Тут если что и случается, то нечасто.

— Ладно. — О прошлом и нынешнем говорить можно долго, но у меня приемный день, стало быть, у кабинета уже очередь. И не стоит надеяться, что Великоламская к моему опозданию отнесется снисходительно. Жалобу накатает, тут и думать нечего. — Конкретно, Гришаня...

Он терпеть не мог, когда я его так называла. И теперь скривился, словно уксуса хлебнул.

— Конкретно... Машенька очень расстроилась, а Игнатьев сказал, что мне пора самому решать проблемы.

— И ты меня увольняешь?

— Нет, — он покачал головой, — это было бы совсем бесчестно. — Ага, и благородные предки его бы не поняли. — Я предлагаю перевестись. С повышением. Начальником участка.

И что-то мне сразу подозрительно стало.

— Куда?

— Бялкина падь.

— А это где? — Чую, не в Москве.

— Понимаешь... — Гришка замялся, — Машенька в положении, ей нельзя волноваться.

Киваю. И ком обиды подкатывает к горлу, а в ушах стоит вкрадчивый Гришкин голос.

...Куда нам сейчас ребенка? Я не доучился, ты тоже... Ни жилья, ни работы. Это, конечно, тяжело, но надо думать головой. Мы просто не можем позволить себе...

Мы. А он вполне вот может. Сейчас.

— Это не так далеко, под Смоленском. — Странно, что не за Полярным кругом. Так бы, глядишь, драгоценной Машеньке вовсе было бы спокойно. — Хороший участок. Город имеется. Хутора. Вокруг — заповедные земли. Природа отличная. И снабжение по особому протоколу. — Гришка все же опустился в кресло. Кожаное, с высокою спинкой, мало от трона отличающееся. — Оклад двойной, регулярные премии. Да и само по себе место тихое. Давно ничего особого не случилось.

Дыра.

Но комфортная.

— Займешься делами своими, наукой... Ты же хотела в аспирантуру поступать? Вот и подготовишься... А я помогу.

— Да неужели? — не удержалась.

Нет, верю, что он сейчас вполне искренен.

— Не в Москву, конечно, но в ту же Тверь или Новгород... можно поспособствовать. Тем более ты и вправду талантлива. — Он слегка замялся и выдал: — Машенька мальчика ждет. — Угу. И она. И генерал. — Игнатьев... человек специфический, но толковых уважает. Напиши пару-тройку статей. Доклад какой к конференции. Выступишь, а там уж я помогу.

Он.

Ну да, еще немного, и совсем поверю.

— А если откажусь? — интересуюсь больше проформы ради, потому как уже понимаю, что не получится.

— Тогда все одно переведу. Скажем, в Жаморьино. Там давно ведьму просят. Шахтерский городок, публика... специфическая. И климат не особо. За повышенную вредность, конечно, надбавка пойдет...

— Засранец ты, Гришка.

— Стало быть, согласна? — Он расплылся в улыбке. — Поверь, Яна, тебе там понравится.

С Афанасьевым чаю мы выпили. Был он горек, пирожки успели остыть, а яблочное повидло казалось каким-то кислым.

Но я ела. Нахваливала.

Он вздыхал и шевелил косматыми бровями. И во взгляде Афанасьева чудился укор. Мол, опять сдалась. А надо было возразить. Пригрозить...

А лучше вовсе вступить в неравный бой за личное счастье. Только...

— Завтрева я тебе соберу, — сказал Афанасьев, — чего положено. И не бойсь, Ласточкина, хорошая ведьма нигде не пропадет.

Так то хорошая, а я...

Я не ведьма. Так, недоразумение... невезучее до крайности. Но бабки мои огорчатся. Особенно Великоламская, которая поутру уже жалобу написала. И на меня, и на Афанасьева, и на соседей своих, которым вздумалось по квартире ходить, а паркет у них скрипучий.

Впрочем, теперь это не мои проблемы.

Я ей посоветовала по поводу паркета и соседей сразу к начальству идти. И понастойчивей. Может, детство и мелкая пакость. Хотя...

Настойчивости Великоламской не занимать, так что...

— Ладно, — я встала, — мне еще вещи собирать.

— Так быстро?

— А то...

Машенька ведь в положении. Понимать надобно. И не нервировать своим присутствием. Что в участке, что в городе.

— Погодь. — Афанасьев тяжело встал.

Старый он. И давно может на пенсию по выслуге лет уйти. Ему предлагали, но Афанасьев отказывался. И не потому, что пенсия маленькая, скорее уж дело в том, что вся-то его жизнь, по собственному Афанасьева признанию, прошла тут, в участке. И дома, в однокомнатной квартире, полученной лет двадцать тому, его никто не ждал.

Он ушел в кладовку, которой давно заведовал на общественных началах, и долго, с душой, там шебуршался. А я сидела. Смотрела.

На стену. На ней снова потрескалась краска. Светло-зеленая в этом году. Ее клали поверх старой, и уже через пару недель она вздувалась пузырями. Пузыри лопались, а потом краска начинала слезать.

На портреты. Смешно: сразу у входа доска с особо опасными и разыскиваемыми, а чуть дальше — другая, почета. Правда, не обновлялась уже лет пять, и фотки выцвели. И физии на обеих досках чем-то неуловимо походили друг на друга.

— Вот. — Афанасьев вышел, подволакивая ногу. Никак опять суставы разболелись. А я ж мазь ему делала. — На.

На стол бахнулся сверток.

— Что это?

— А ты поглянь. — Подвинул его ко мне.

Старая ветошь, бечевка, которую долго приходится пилить ножом. Он у Афанасьева тупой, только масло резать годится. Вощеная бумага, которой на почте пакуют посылки.

И...

— Это... — я убрала руки, — это же...

— Бабки моей, — сказал он печально. — Не так давно отошла. — И перекрестился.

Это он зря. Такие вещи креста не любят.

— Ведьмою была. Потомственной. И мамке бы моей тоже быть, да она дар будить не стала. Сбегла из дому, а после уж поздно. Сама знаешь.

Знаю.

Книга выглядела не просто старой — древней. Обложка из задубевшей кожи потрескалась, страницы пожелтели. Но стоило коснуться, как я ощутила эхо силы — той, древней, знакомой каждой ведьме.

— Я ж вовсе вот... мужик.

— Все одно мог бы.

— Мог бы, но... — Афанасьев пожал плечами. — Дело-то такое... Молодым был, дурным. Считал, на кой оно мне? Тогда же ж времена другие были. Маги — это да, сила и почет. А ведьмаки, ведьмы да знахарки — пережиток прошлого. Мошенники и все такое.

Я решила коснуться книги. Кончиками пальцев.

И мысленно попросила прощения, что так вот.

— А потом уж как-то и отступать не отступишь. Гордость и глупость — страшное сочетание. — Он тяжело опустился на стул. — Бабка моя сто пятнадцать лет про-

жила... тоже гордая. Могла б ученицу взять. Многие просились, а она только глянет и отказывает. — Странно. Ведьмы чужих не любят, но позволить роду прерваться?.. — Потом померла.

— Как?

Сто пятнадцать для ведьмы, конечно, возраст, но не сказать, что предельный. А силу под обложкой чую немалую.

Старая книга. Очень.

— Пожар случился. — Афанасьев поморщился.

Пожар?

Чтобы у ведьмы дом загорелся...

— В селе соседнем. Позвали ее. Роженица там... в деревне-то больше ведьмам верят, чем всяким там. — А еще ведьмы, как правило, ближе. Даже сейчас фельдшерско-акушерские пункты далеко не везде есть, не говоря уж о нормальных больничках. — Она-то роды приняла. И дите омыла. И праздновали там сильно... Кто-то сено запалил, не нарочно, скорее всего, да полыхнуло... хата незаговоренною была. Это уж потом выяснили. Хозяева крепко жадные.

Я только головой покачала и положила руки на книгу.

Теплая обложка. И отзывается, но нехотя, словно через силу. Лежать в кладовке ей наскучило, но не настолько, чтобы кровь чужую принять.

— Бабка огонь осадить пыталась, да... — Афанасьев махнул рукой, — обгорела крепко. Ну а там уж и сила, и врачи не сподобились...

Все одно странно.

Старая ведьма по углям пройдет да лесной пожар наступиться заставит, а тут... Неладно совсем там было, чую.

— Наследство от нее, стало быть. — Афанасьев глянул на книгу едва ли не с ненавистью. Ох, наверняка есть тут подвох. — Но мне оно к чему? Я и бездетный, и крещен, а тебе авось сгодится.

— Спасибо, — я встала и поклонилась, — дар... редкий. Ты ж ее...

— Продать? А то, подходили...

— Кто?

— Да вашего бесовского племени. Хвостом крутили. Кто прямо, кто исподволь... обменять, подарить взаимно.

Это верно, ведьмину книгу так просто не продашь. Но способы давно существуют, тот же обмен дарами. Да за эту книгу Афанасьев мог бы квартиру получить!

— Я-то ничего взамен и не дам, — призналась печально, — а ты можешь...

— Что, квартирку? Предлагали. И денег. И жизнь продлить даже... Жену хорошую.

— Не согласился?

— А на кой оно? Квартирка у меня есть. Деньги тоже. Я никогда-то особо не тратил. Не на что, привык малым довольствоваться. — Афанасьев кивнул на пирожки. — Жена? Что за жена, которую, как скотину, привести-увести можно? Жизнь? А на кой она, такая от... бестолковая? Здоровье... Я ж кой-чего знаю все же. Своего уже нет, а заемное, за которое другие платить будут? Нет, бабка не одобрила бы.

— А меня, стало быть, одобрила бы?

Он хитро прищурился.

— А ты попробуй взять-то.

Я пожалала плечами и тронула книгу. Подняла, положила на место. И снова погладила, извиняясь, что от так, без ритуала, без почтительности. Пробежалась пальцами по трещинкам на обложке. Хорошая. И устала... Что в ней? Не откроешь — не узнаешь. У каждого ведьмино-го рода старого своя книга. Иные писаться начали на заре времен. И переходят они от матери к дочери, сотню за сотней лет разменивая. И не мне, выскочке, в которой дару капля, претендовать.

Обложка поддалась и раскрылась, являя желтые страницы. Буквы тоненькие, что ниточки, и читать получается с трудом.

«Заклятье на силу женскую».

Афанасьев удовлетворенно кивнул.

— Не знаю, что да как, я в ваших делах понимаю мало, но... признала она тебя.

— Спасибо, — сказала и ему, и книге.